



Александр Сидоров – президент Международной академии русской словесности в Австралии, председатель Австралийского отделения Союза писателей России, доктор филологических наук. Публиковался в «Литературной газете», в журналах: «Юность», «Австралиада» (Австралия), «Жемчужина» (Австралия). Член ЛИТО города Фрязино (Московская область), «Жемчужное Слово» (Австралия). Автор пяти книг на русском языке: «Библейские мотивы», «Колокол моей жизни» (сборник стихов), «Литературные портреты», «В. Г. Белинский», «Встречался ли Достоевский с Гоголем?..»; автор более 140 статей по истории русской литературы XIX века. Почётный писатель Московии. Награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», медаль имени И. А. Бунина (за литературные заслуги), орден «В. В. Маяковский» (за литературные заслуги), орден «Святой Анны» (за литературные заслуги). Финалист Московской литературной премии – 2019 в номинации «Публицистика». Номинант литературной премии мира в номинации «Поэзия» (2018, М. Бурдин). Участник Московской международной книжной выставки-ярмарки – 2020. Лауреат Международной литературной премии мира в номинации «Поэзия» (2020; 2021).

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ (1831–1895)

Собираясь умирать, Лесков писал о себе: «Я старался служить Богу в духе и истине, побояря в себе страх перед людьми и укрепляя себя любовью...» Если по слабости человеческой это старательное служение не всегда ему удавалось, всё же он мог сказать эти слова без лишней гордыни, справедливо осознавая, что литературная деятельность, в которую ушла вся сила его души, была для него подлинно делом Божие. С сожалительным презрением писал он об одном журналисте, ремесленнике слова: «Он не терпел и не желал ничего претерпеть ни за какое убеждение; литература для него не была искусством и служением исповедуемой истине или идее, а у него она была средством для заработка и только. За это он и претерпел горькую участь, в которой должны видеть себе предостережение те, которые идут ныне этою же губительною стезёю. Как средство к жизни, литература далеко не из лёгких и не из выгоднейших, а, напротив, это труд из самых тяжёлых, и притом он много ответствен и совсем не благодарен. Кто не хочет благородно страдать за убеждения, тот пострадает за недостаток их, и это страдание будет хуже, ибо оно не даст утешения в сознании исполненного долга».

Когда какой-то редактор, указывая Лескову на тяжёлое положение печати при существовавших тогда политических условиях, предложил ему кое-чем поступиться, кое-что, как говорится, «смягчить», Лесков ответил: «Я отдал литературе всю жизнь и передал ей всё, что мог получить приятного в этой жизни, а потому я не в силах трактовать о ней с точки зрения поставщицей. По мне, пусть наши журналы хоть вовсе не выходят, но пусть не печатают того, что портит ясность понятий. Я не то что не понимаю современного положения печати, а я его знаю, понимаю, но не хочу им стеснять себя в том, что для меня всего дороже: я не должен “соблазнить” ни одного из меньших меня и должен не прятать под стол, а нести на виду до могилы тот светоч разума, который дан мне Тем, перед очами Которого я себя чувствую и непреложно верю, что я от Него пришёл и к Нему опять уйду. Не дивитесь этому, что я так говорю, и не смейтесь: я верую так, как говорю, и этой верою жив я и крепок во всех утеснениях. Из этого я не уступлю никому и ничему, – и лгать не стану»...

И эти горячие признания, и непререкаемая искренность произведений субъективнейшего художника, и воспоминания людей, лично знавших Лескова, – всё говорит, что он не лгал и не рисовался,

что литература была для него действительно служением. Но одно дело – хотение, а другое – умение. В душе Лескова жило великое стремление к истине, но осложнённое и запутанное чрезмерным богатством живой и впечатлительной природы и некоторыми внешними событиями, искривившими предназначенный его таланту путь, оно не проявилось в отчётливой, чистой и ясной форме. Писатель широкой известности, Лесков – на диво непопулярный писатель. Почти всё, что написано о Лескове, сбивается либо на апологию, либо на обвинительный акт, больше, впрочем, на последний. И причина непопулярности Лескова не столько в его разладах с основными течениями эпохи, сколько в неясности его стремлений, в корне благих, а в проявлениях – туманных и бесплодных. Время примирит, и уже теперь примиряет, общество с писателем, – но чему можно учиться у Лескова? Вот вопрос вообще не праздный, о каком писателе его ни задай, и особенно важный по отношению к Лескову, – потому что именно учителем хотел быть этот художник. Кто сознательно хочет литературой учить людей, тот должен не только верить в своё избранничество, но обладать, верить, что обладает, определённой истиной, мужеством мириться с неизбежным ограничением, заключающимся в каждой догматической истине.

Лесков был как моралист ниже этой роли, но зато моралист в нём превзойдён художником. Обе эти стороны его таланта далеко не равномерны. По чисто художественной значительности и типическому своеобразию таланта он кое в чём мало уступает Толстому, Тургеневу, Салтыкову, Достоевскому, первым писателям своей эпохи, но по внутренней цельности, по степени проникновенности идеалами, которыми жили эти люди, – Лесков гораздо ниже их. Большую часть своего долгого литературного поприща он прошёл, не примыкая ни к чьему знамени, а гордо развить своё знамя у него не хватило душевных сил. Под конец своих дней он пошёл за Толстым, как будто «смирился», но это уже было падением таланта, т. е. не приобретением, а потерей литературы.

Своеобразно сложилась жизнь этого своеобразного писателя. Он не получил ни систематического образования, ни правильного воспитания и был во всех отношениях самоучка, высколченный самовоспитанием и житейской сутолокой. Этим Лесков даже гордился, говоря: «Книги и сотой доли не сказали мне того, что сказало столкновение с жизнью. О, какое преимущество! Всем молодым писателям надо выезжать из Петербурга на службу в Уссурийский край, в Сибирь, в южные степи... Подальше от Невского! Запасаться опытом и размышлением о действительной жизни».

Родился Лесков в небогатой полудуховной, полудворянской семье в селе Горохове Орловского уезда и детство провёл в деревне. «Обучался в орловской гимназии, – гласит его краткая автобиографическая записка, – ...осиротел на шестнадцатом году и остался совершенно беспомощным. Ничтожное имущество, какое осталось от отца, погибло в огне. Это было во время знаменитых орловских пожаров. Это же положило предел и правильному продолжению учения. Затем – самоучка». Влияние родной семьи было ничтожно; отец и мать Лескова были личности бледные и ординарные, – но зато сильные впечатления заронила в душу ребёнка окружающая обстановка. Дворовые научили его любить и жалеть народ, а первые уроки религии дал ему орловский священник Остромысленский, «превосходный христианин и друг всех нас, детей, которых он умел научить любить правду и милосердие». С ещё большею благодарностью вспоминал он другого своего наставника, немца, носившего прозвище «Коза» (герой рассказа «Томление духа»), высокой души идеалиста, учившего словом и собственным примером не делать того, «чего Иисус Христос никому не позволил и просил никогда не делать»; за это, после одного горестного столкновения идеализма с грубой действительностью, Козе показали «где Бог и где порог», – и он ушёл «к блаженной вечности», бесприютный и счастливый, сказав своим ученикам на прощание: «иногда увидимся... и опять... не увидимся... иногда». И много лет спустя казалось Лескову, что и он сам, как мог, хоть слабыми шагами, шёл за учителем: «и я не совсем всё стоял... И я будто иногда плёлся и тоже помаленечку подвигался, но зато я чувствовал и то, как я слаб»...

Ряд сильных, неизгладимых внешних впечатлений дал Лескову голод, постигший Орловскую губернию в 1840 году, когда ему шёл десятый год. Он рассказал о них в «Юдоли», где картины народного горя, темноты и дикости тем ужаснее, что фотографически правдивы. Крошечное сердце ребёнка надрывалось от боли, когда он слушал рассказы, как мужики убили человека, чтобы, возжегши свечу из человеческого сала, молить Бога о дожде, или видел, как голодные мужики «плетутся по дорогам длинными вереницами, и сами взъерошенные, истощённые и ободранные,

а лошади уже одни скелеты, обтянутые кожей... и не разберёшь даже, кто кого жалче». Он и сам при этом страдал, от невещественного «голода ума, голода сердца, голода души».

Полуравнодушно, полурастерянно глядели на мужичье горе родители Лескова, но на помощь приехала его тётка, бывшая замужем за англичанином, и её подруга, квакерша Гильдегарда; они организовали помощь голодающим, принялись лечить больных и внесли свет в это поистине тёмное царство, юдоль плача. Отдыхая от работы, они читали Библию или пели «cantiques» и незаметно заронили в душу мальчика Божию искру: «Я был поражён и тихой гармонией стройных звуков, так неожиданно наполнивших дом наш, а простой смысл художественных слов песни пленил моё понимание. Я почувствовал необыкновенно полную радость от того, что всякий человек сейчас же, “таков как есть”, может вступить в настроение, для которого нет расторгающего значения времени и пространства. И мне казалось, что как будто, когда они тронулись к Нему “за верой, зреньем и прощеньем”, и Он тоже шёл к ним навстречу, Он подавал им то, что делает иго Его благим и бремя Его лёгким... О, какая это была минута! Я уткнулся лицом в спинку мягкого кресла и плакал впервые слезами неведомого мне до сей поры счастья, и это довело меня до такого возбуждения, что мне казалось, будто комната наполняется удивительным тихим светом, и свет этот плывёт сюда прямо со звёзд, пролетает в окно, у которого поют две пожилые женщины, и затем озаряет внутри меня моё сердце, а в то же время все мы – и голодные мужики, и вся земля – несёмся куда-то навстречу мирам... О, если бы за все скорби жизни земной ещё раз получить такую минуту при уходе из тела! Этот вечер, который я вспоминаю теперь, когда голова моя значительно укрыта снегом житейской зимы, кажется, имел для меня значение на всю мою жизнь».

Осиротев, Лесков вынужден был оставить четвёртый класс гимназии. В 1847 году он поступил на службу в орловскую уголовную палату суда канцелярским служителем, а в 1849 году перешёл в киевскую казённую палату помощником столоначальника по рекрутскому столу ревизского отделения. И здесь он насмотрелся слёз и горя, и видел однажды на несчастном просителе кровавый пот: «это невыразимо страшно... мне кажется, будто я видел отверстое человеческое сердце, страдающее самую тяжёлою мукою». В мерзкой канцелярии, где «каждый кирпич, наверно, можно было бы размочить в пролившихся здесь родительских и детских слезах», он пережил тогда – ему, надо заметить, был двадцать один год – глубокое душевное потрясение, и с этих пор его мысли окончательно настроились на тот высокий лад, который он определял словами одного богословского писателя: «предстояние ума в сердце».

Живя в Киеве, он встретил там женщину, которая была его первой любовью, романтической и мечтательной. Она была старше его. «Странная, – вспоминал он о ней, – прекрасная и непонятная женщина, мелькнувшая в моей жизни, как мимолётное видение, а между тем бросившая в душу мне светлые семена: как много я тебе обязан и как часто я вспоминал – предтечу всех моих грядущих увлечений – тебя, единственную из женщин, которую я любил, и не страдал, и не каялся за эту любовь! О, если бы ты знала, как ты была мне дорога, не тогда, когда я был в тебя влюблён моей мальчишеской любовью, а когда я зрелым мужем глядел на женщин хвалёного позднейшего времени и... с болезненной грустью видел полное исчезновение в новой женщине высоких, воспитывающих молодого мужчину инстинктов и влечений, – исчезновение, которое восполнят разве новейшие женщины, выступающие после отошедших новых». От неё он услышал, что учиться везде можно и нужно, и не для дипломов и связанных с ними привилегий, а ради понимания жизни и её целей, которое есть высшее благо. И Лесков учился.

После казённой службы он перешёл на частную, – сначала в Русском обществе пароходства и торговли, потом к своему дяде Шкоту, мужу тётки Полли (Пелагеи Димитриевны), управляющему большими помещичьими имениями. Этот Шкот, гуманный и энергичный человек, как мог боролся с окружающей тьмою, старался поднять народное хозяйство и улучшить положение крестьян, но изнемог в борьбе, проникся презрением к России и не ждал для неё добра в будущем. «Ты русский, – с грустью говорил он племяннику, – и тебе это, может быть, неприятно, но я сторонний человек, и я могу судить свободно: этот народ зол; но и это ещё ничего, а всего хуже то, что ему говорят ложь и внушают ему, что дурное хорошо, а хорошее дурно».

На этой службе однажды Лескову довелось транспортировать «продукты природы», – крепостных мужиков, которых против воли переселяли на новое место. От страшной нечистоты переселенцы, которых не пускали в баню, чтобы они не сбежали совсем, невыносимо страдали; Лескову

было их жалко, и он поделился своим сожалением с доверенным дяди, умным мужиком – тираном, но получил жёсткий ответ: «Кому, сударь, людей жалко, тому не нужно братья народ на свод водить». Гуманность Лескова не принесла пользы крестьянам: он рискнул отпустить их в баню, а они пустились уходить домой и, остановленные полицейским чиновником, были жестоко высечены. Сам он чуть не попал в серьёзную передрагу за «возмущение крестьян», и ему пришлось даже благодарить полицейского, «находчивость» которого пресекла попытку бежать в самом начале и спасла мужиков от более тяжкого наказания по суду. Таким образом, его идеализм не раз получал чувствительные уроки от иронической судьбы.

Вращаясь в практическом университете, Лесков заглядывал и в университет научный и находил возможность иногда слушать лекции лучших тогдашних киевских профессоров. Литературный талант сказался у Лескова сам собою, сказался там, где такому таланту и быть, собственно, не для чего. Состоя агентом дяди Шкота, он писал ему служебные письма, но, познакомившись с ними, один литератор напророчил, что их автору быть писателем. Подметил в нём литературную жилку и знакомый киевский профессор, по просьбе которого Лесков написал одну из своих первых появившихся в печати заметок «о зданиях» («Современная Медицина», 1860), а немного позднее Аполлон Григорьев решительно определил в Лескове беллетристический талант. Первоначальные работы Лескова носили характер, с внешней стороны, узкопрактический, но уже были проникнуты идеей «служения»: он писал о дороговизне Евангелия, о местах распивочной продажи напитков, о полицейских врачах, о народном здоровье, об искоренении пьянства, т. е. о всех язвах общественной жизни.

Переехав в 1861 году в Петербург, он буквально с головой окунулся в профессиональную литературную деятельность. Молодой идеалист-практик вступил в среду «новых» людей, созданных «новым» временем, и несколько лучших изданий раскрыли ему свои страницы. Тут-то, в самом начале своего литературного поприща, Лесков совершил крупную тактическую ошибку, надолго отравившую ему душу и испортившую его положение в литературе. Это произошло в 1862 году. В Петербурге начались большие пожары, и, как водится, народ заговорил о поджигателях. Поджоги приписывались то дворянам, будто бы мстившим за 19 февраля, то полякам, то, наконец, оппозиционно настроенной молодёжи – студентам. Лесков поместил тогда в «Северной Пчеле» передовую статью, в которой писал: «Среди всеобщего ужаса, который распространяют в столице почти ежедневные большие пожары, лишаящие тысячи людей крова и последнего имущества, в народе носится слух, что Петербург горит от поджогов и что поджигают его с разных концов триста человек. В народе указывают и на сорт людей, к которому будто бы принадлежат поджигатели, и общественная ненависть к людям этого сорта растёт с невероятной быстротой. Равнодушие к слухам о поджогах и поджигателях может быть небезопасным для людей, которых могут счесть членами той корпорации, из среды которой, по народной молве, происходят поджоги... Народ нимало не скрывал ни своих подозрений, ни своей готовности употребить угрожающие меры против той среды, которую он подозревает в поджогах. Во время пожара в Апраксинском дворе были два случая, свидетельствующие, что подозрения эти становятся далеко небезопасными. Насколько основательны все эти подозрения в народе и насколько уместны опасения, что поджоги имеют связь с последним мерзким и возмутительным воззванием, приглашающим к ниспровержению всего гражданского строя нашего общества, мы судить не смеем. Произнесение такого суда – дело такое страшное, что язык немеет и ужас охватывает душу. Но как бы то ни было, если бы и в самом деле петербургские пожары имели что-нибудь общее с безумными выходками политических демагогов, то они несколько не представляются нам опасными для России. Скрываться нечего. На народ можно рассчитывать смело, и потому смело же должно сказать, основательны ли сколько-нибудь слухи, носящиеся в столице о пожарах и поджигателях? Щадить адских злодеев не должно, но и не следует рисковать ни одним волоском ни одной головы, живущей в столице и подвергающейся небезопасным нареканиям со стороны перепуганного народа. Мы не выражаем всего того, что мы слышали; полиция должна знать эти слухи лучше нас, и на ней лежит обязанность высказать их, если она хочет заслужить доверие общества и его содействие».

Странная, виляющим и суконным языком написанная передовица вызвала бурю негодования в тех самых кругах интеллигенции и учащейся молодёжи, которые Лесков так неуклюже пытался защитить от обвинения в поджогах. С величайшей бестактностью Лесков подтвердил в печати

и усилил тёмные слухи о поджигателях, которые, не раздувай их пресса, легко может стать, так бы и заглохли, и высказал весьма плохо замаскированное обвинение против той партии, откуда вышло «мерзкое и возмутительное воззвание», партии «Молодой России». Ещё бестактнее было обращение к добросовестности и компетентности полиции (!) и совет отделить «адских злодеев» от членов известной «корпорации». Лесков упустил из виду, что «адскими злодеями» в глазах народа, не читавшего никаких прокламаций, и были студенты, которых молва, усердно поддерживавшаяся тогдашней чёрной сотней, считала поджигателями. Немудрено, что неумная заметка Лескова произвела впечатление настоящей провокации, и, как ни старалась «Северная Пчела» оправдаться, как ни распинаясь: «безбожно думать на студентов», – сгладить это впечатление уже было невозможно. Несчастный Лесков прослыл доносчиком, сикофантом (гр. sykophantes, в древних Афинах – профессиональный доносчик и шпион), и от него отвернулись многие, чьё расположение и сочувствие не могло не быть ему дорого.

На эту печальную историю нельзя смотреть как на случайность. Произошло то, что в той или иной форме неминуемо должно было раньше или позже произойти. Человек широких общественных интересов, Лесков не был политиком прежде всего по темпераменту, слишком страстному и невыдержанному. Нравственный идеал был ему ясен, но он не знал ни определённого пути к нему, ни той умственной дисциплины, которая нужна, чтобы преодолеть трудности этого пути.

Несомненно, Лесков был по духу прогрессивным человеком, но абсолютно очевидно, что он не вступил на путь, проторённый духовными вождями эпохи, а сам был не настолько силён, чтобы проложить свою дорогу. Какая-то робкая недоговорённость, лукавая половинчатость видна вообще в его статьях этого времени. В его душе всегда жило религиозное устремление, но Лесков тогда ещё не осознал себя и просто не знал, что с собою делать, за кем пойти, – отсюда его скептицизм. «Рудинствующие и базарствующие импотенты» слишком били ему в глаза, малодоступные «возвышающим обманам» и так уж самим Богом устроенные, чтобы видеть недостатки и промахи современности.

Прочитав «Что делать», он писал: «Героев романа г. Чернышевского называют нигилистами. А между ними и личностями, надоевшими всем и каждому своим нигилизмом, нет ничего общего. Люди г. Чернышевского совсем другие, а эти – фразёры; в людях г. Чернышевского прежде всего стремление – дать благосостояние возможно большему числу людей; в нигилистах наших общность интересов только на языке, а на деле – жестокосердие. Господин Чернышевский заставляет делать такое дело, которое можно сделать во всяком благоустроенном государстве, от Кореи до Лиссабона. Нужно только для этого добрых людей, каких вывел г. Чернышевский, а их, признаться сказать, очень мало». И при этом Лесков жестоко казнил современное общество за «гадости» и «профанацию идеи нигилизма». А так как он не ждал от этого общества ничего доброго, не считал его способным к развитию в духе им самим принятой идеи и – мало того – даже думал, что «идеи, которых некому и негде осуществлять, скверные идеи», ему пришлось, само собою, стать в оппозицию современному течению. Своё отношение к нему он вскоре ясно высказал в своём первом крупном произведении, романе «Некуда» (1864). В нём он изобразил людей, которым «некуда», с которыми «некуда» идти, – это были «новые» люди. Роман вызвал суждения, для Лескова ещё более огорчительные, чем злополучная передовица в «Северной Пчеле», и Писарев ядовито спрашивал: «Найдётся ли теперь в России, кроме “Русского Вестника”, хоть один журнал, который осмелился бы напечатать на своих страницах что-нибудь выходящее из-под пера Стебницкого и подписанное его фамилией? Найдётся ли в России хоть один честный писатель, который будет настолько неосторожен и равнодушен к своей репутации, что согласится работать в журнале, украшающем себя повестями и романами Стебницкого?» (Таким псевдонимом подписывался тогда Лесков.)

Причина этого озлобления против Лескова не только в шаржированных портретах двух-трёх современников, которых он вывел в романе, и не в том, что большая часть его героев «новых» была выставлена никуда негодными людьми, а в том осуждении, которое выносил автор даже лучшим своим героям, представителям тогдашнего первенствующего направления, обрекая благороднейшие сердца и лучшие умы на бесполезность и ненужность. От широких, многообъемлющих политических реформ и переворотов, о которых мечтало передовое общество, Лесков в своём романе звал к внутреннему перерождению и медленному, но верному воспитанию в народе нравственной порядочности и культурных навыков, к своего рода «малым делам», в которые верил больше, чем

в государственные потрясения. Лев Николаевич Толстой оценил эту сторону романа, в котором Лесков «указал недостаточность материального прогресса и опасность для свободы и идеалов от порочных людей; он отшатнулся от материалистических учений о благодеяниях государственного прогресса, если люди остаются злыми и развратными».

Вспоминая о «Некуда», Лесков часто оправдывался: «Я дал в “Некуда” симпатичный тип русских революционеров: Райнера, Лизу Бахарева и Помаду. Пусть укажут мне в русской литературе другое произведение, где бы настоящие, а не самозванные нигилисты были так беспристрастно и симпатично оценены? Ведь во всякой партии есть симпатичные и благородные люди. Я их нашёл в лице Райнера, Лизы Бахарева и Помады. Разве “Маркушка” Гончарова, “Бесы” Достоевского, “Полюяровщина” Крестовского или “импотенты” Тургенева в “Нови” лучше моих страдальцев?.. Мне всегда были дороги крупные характеры и идеализм души героев “Некуда”, – продолжал он. – Я не разделял их практической деятельности, но умел различить настоящих радикалов от фальсифицированных... Я, будучи ещё молодым человеком, уже предчувствовал, во что выродятся наши нигилисты, когда пророчествовал о них в “Некуда”. Но действительность в наши дни превзошла все мои предсказания. В ней я имею себе блистательное оправдание. Я могу сказать о себе, как Бисмарк: хотел вспрыгнуть на коня, но не перепрыгнуть... Теперь я сам боюсь того, что вижу среди нигилистического мира: я хотел показать его, каков он есть, но не хотел того, что теперь встречаю в нём и вижу. Вся грязь моего “Некуда” ничто в сравнении... Грязь моих романов у вас в семье и в обществе. Они на каждом шагу теперь. Вы их везде встретите и всего более в той же литературе: среди добровольцев пошлости и мутителей понимания. Я писал, что нигилисты будут и шпионами, и ренегатами, безбожники сделаются монахами, писатели пойдут к кулакам – издателям, сделаются биржевиками и банковскими кассирами, профессора – чиновниками и т. д. Что же, разве это не оправдалось?..»

Эта часть лесковского прогноза, несомненно, оправдалась, и даже, может быть, ярче, чем мог ожидать Лесков, самые мрачные или карикатурные герои которого – ничто в сравнении с героями «азефщины», но история уже показала, что поколению шестидесятих годов не «некуда» было идти, что оно сделало великий и важный шаг, что зло, которое натворили обличённые Лесковым мошенники и плуты нигилизма, бесконечно превышены добром, которое принесли Райнеры, Бахарева, Чернышевские и Писаревы. Современники были слишком жестоки к Лескову, но в их дружном осуждении его романа сказались не одна потребность в самозащите, но и верное историческое понимание.

Гонения, которым давно подвергался Лесков, теперь усилились. Пошли слухи, что он писал свой роман по заказу Третьего Отделения; при его появлении в обществе бывшие приятели брались за шапки и уходили; резвые полемисты то и дело мило «шутили»: «с позволения сказать, господин Стебницкий». Для Лескова это был тяжёлый удар, от которого он вполне не оправился и долгие годы спустя и унёс с собою в могилу горечь обиды. Он, рассказывает человек, близко его знавший, «не искал и не хотел сознательно такой судьбы, не был ею гордым, назло, творцом и хозяином, как это бывает с иными “демоническими или бесчувственно-грубыми натурами. Напротив, он всегда был или, точнее сказать, чувствовал себя именно жертвой, – жертвой угнетённой, несправедливо обиженной и страдающей. Эта угнетённость и обречённость долго его удручали и часто просились наружу, при всяком удобном и даже неудобном случае. Его постоянно тянуло оправдываться и жаловаться; ему явно хотелось, чтобы его пожалели, извинили и заступились за него, чтобы сняли с его имени то пятно, которое сгоряча навалили на него во столько рук... У Лескова это было в своём роде хроническим большим местом».

Всю свою жизнь он не переставал жаловаться, что был «руган и оклеветан». Имя Лескова стало на многие годы бранным в глазах той интеллигентской толпы, которая даже не знала его как писателя и повторяла тёмные слухи. «Врагов у меня всюду много, – говорил он незадолго до смерти. – Много ли даже в литературе-то найдётся лиц, перечитывающих меня в настоящее время, чтобы судить более правильно обо мне?.. А ведь меня мешком по голове не били»... И единственным утешением ему служило сознание, что «через пять-шесть десятков лет люди будут читать только наши книги, а не партийные счёты»... Но дошёл он до такого сознания не скоро и ещё долго продолжал эти злобные счёты. Они сильно испортили другое крупное произведение Лескова – роман «Обойдённые», появившийся после «Некуда» (1865), и ещё более – следующий большой роман «На ножах» (1870), самое объёмистое его произведение.

В «Обойдѣнных» выведены такие же хорошие люди из «новых», как и в «Некуда», – люди, не старающиеся быть заметными, скромно работающие для народного блага и потому «обойдѣнные» общественным вниманием и сочувствием, – а рядом с ними, такие же, как и в «Некуда», наивные и грубые карикатуры на «необойдѣнных», популярных героев времени. Создаваемая вторыми общественная атмосфера такова, что в ней парализуются все благородные усилия первых, – и, таким образом, Лесков снова повторил свою прежнюю ошибку, снова безотрадно осудив своё поколение. Роман сам по себе написан к тому же спутанно, риторично и лубочно. Все эти недостатки ещё в большей степени присущи роману «На ножках». Интрига его ещё запутаннее; в ходе «слагаемых самых разнообразных обстоятельств» читатель разбирается с трудом; добродетельные герои блещут голубиной белизною, а порочные, из ненавистных автору нигилистов, черны, как уголь; слог неровный и пошловатый. Это почти бульварный роман, с кричащей красочностью страстей и ненужно запутанной сложностью фабулы. Замечательно, что во всей обширной галерее лиц, выведенных в этих трёх романах, Лесков не дал ни одного типа. Великое общественное движение, свидетелем которого он был, далось его разумению лишь с частных, несущественных сторон, и притом далеко не лучших. Главное же от Лескова положительно ускользало.

Не политик, а религиозный ум, в политике Лесков был почти слеп, а личное озлобление только увеличивало его слепоту. Оно улеглось не скоро, но улеглось постепенно, по мере того, как Лесков переходил на свою настоящую дорогу. Оно замирает уже в «Соборях», лучшей из больших вещей Лескова (1872). Главное лицо в этом романе – благородный, умный, пламенно верующий, бодрый и деятельный священник Туберозов. Он и вся «старогородская поповка» – воплощение духовной красоты, чистоты и религиозности. Лучшее понятие о Туберозове и о тоне, в котором выдержана вся характеристика «поповки», может дать выдержка из дневника Туберозова, его «демикотоновой книги»: «Сегодня, встав рано, сел у окна и, размышляя о делах своих, и о прошедшем своём, и о будущем, глядел на раскрытую перед окном моим бакшу полунищаго Пизонскаго. Прошлый год у него на грядах некая дурочка Настя, обольщённая проходящим солдатом, родила младенца и сама, кинувшись в воду, утонула. Пизонский в одинокой старости своей призрел сего младенца, и о сем все позабыли; позабыл и я во главе прочих. Но утром днесь поглядаю свысока на землю сего Пизонскаго, да думаю о делах своих, как вдруг начинаю замечать, что эта свежевзоранная, чёрная, даже как бы синеватая земля необыкновенно как красиво нежится под утренним солнцем, и ходят по ней бороздами в блестящем пере тощия чёрные птицы и свежим червем подкрепляют своё голодное тело. Сам же старый Пизонский, весь с лысой головы своей озарѣнный солнцем, стоял на лестнице у утверждённаго на столбах рассадника и, имея в одной руке чашу с семенами, другою погружал зёрна, кладя их шепотью крестообразно и глядя на небо, с опущением каждого зерна зывал по одному слову: “Боже! устрой и умножь, и возрасти на всякую долю человека голоднаго и сираго, хотящаго, просящаго и произволящаго, благословляющаго и неблагодарнаго”, и едва он сие кончил, как вдруг все ходившия по пашне чёрныя глянцевитыя птицы вскричали, закудахтали куры, и запел, громко захлопав крыльями, горластый петух, а с рогожи сдвинулся тот, принятый сим чудачком, мальчик, сын дурочки Насти, он детски отрадно засмеялся, руками всплескал и, смеясь, пополз по мягкой земле. Было мне всё это точно виденье. Старый Пизонский был счастлив и громко запел: “Аллилуия!” Аллилуия, Боже мой! запел и я себе от восторга, и умиленно заплакал. В этих целебных слезах я облегчил мои досаждения и понял, сколь глупа была скорбь моя, и долго после того дивился, как дивно врачует природа недуги души человеческой! Умножь и возрасти, Боже, благая на земли на всякую долю: на хотящаго, просящаго, на произволящаго и неблагодарнаго... Я никогда не встречал такой молитвы в печатной книге. Боже мой, Боже мой! Этот старик садил на долю вора и за него молился! Это, может быть, гражданской критикой не очищается, но это ужасно трогает. О, моя мягкосердечная Русь, как ты прекрасна!» В своём церковнослужении Туберозов видит апостольское призвание, которому нет простора в рамках государственной церковности: «Я ощущаю порой, – говорит он в своих проповедях, – нечто на меня сходящее, когда любимый дар мой ищет действия; мною тогда овладевает некое, позволю себе сказать, священное беспокойство; душа трепещет и горит, и слово падает из уст, как уголь горящий. Нет, тогда в душе моей есть свой закон цензуры... а они требуют, чтобы я, вместо живой речи, направляемой от души к душе, делал риторические упражнения... Я сей дорогой не ходок... Я из-под неволи не проповедник». Конечно, в неравной борьбе с ними Туберозов погибает. Рядом с идеалистической

и идеализированной «поповкой» и благородными остатками разрушающегося стародворянского быта (помещица Плодомасова, карлик Николай Афанасьевич) выведены ненавистные Лескову представители «нового» поколения, очерченные, правда, без того злопыхательного шаржа, который так режет глаза в «На ножах», но с достаточным зложелательством и непониманием. Эмансипированная акцизничиха Бизюкина, во всех отношениях негодяй революционный деятель Термосесов, смешной и глупый уездный нигилист Варнава Препотенский нарочно представлены какими-то пугалами, вызывающими то страх, то смех, то отвращение, то презрение, чтобы скомпрометировать движение, представляемое ими.

После Толстого и Достоевского Лесков решительно наиболее ярко выраженный религиозный ум во всей русской литературе 19-го века. Религиозное чувство его в течение большей части его жизни вполне удовлетворялось православием, в котором он видел достойное выражение христианского духа. Он любил даже внешнюю обстановку церковности. «Он украшал, – рассказывает его приятель, – собственную квартиру образами, картинами с сюжетами из Священного Писания, лампадками... одевался дома в какие-то подряски, с скуфьей на голове и чётками в руках; одно время даже “усиленно искал душевного успокоения в религиозных бдениях”». Ученик священника-идеалиста, создатель благородного облика Туберозова, он, естественно, был усердным защитником и пропагандистом православия, которое любил и как историческую и нравственную идею, и как источник колоритного, оригинального быта. При появлении Редстока с последователями и возникновении «великосветского раскола» Лесков выступил в защиту православия против сектантской холодности и рационализма. Выступал он и против раскольничьего формализма в делах веры и нетерпимости; по поручению правительства им было написано исследование «О раскольниках города Риги», – в нём он открыто требовал отмены религиозных ограничений.

Глубокое знание и понимание раскола видны в одном из лучших рассказов Лескова «Запечатлённый ангел»; здесь Лесков показал, как нужно бороться с расколом: это средство – любовь. Встречая проповедника-православного, фанатик-старовер говорит: «Господи, дерзаю рассуждать, если только в церкви два такие человека есть, то мы пропали, ибо сей весь любовью одушевлён». Таким образом, церковь есть храм любви, и кто проникнут любовью, тот поднимается неизмеримо выше церковных стен. И, сознавая это, умный архиерей («На краю света») решает оставить без крещения спасшего его добродетельного дикаря: «Что же я с ним сотворю теперь? Возьму ли я у него эту религию и разобью её, когда другой, лучшей и сладостнейшей, я лишён возможности дать ему, доколе “слова путают смысл смертного”, а дел, для пленения его, показать невозможно? Неужто я стану страхом его нудить или выгодою защиты обольщать?.. А где же мои средства его воспитать, его просветить, когда нет их, этих средств, и всё как бы нарочно так устроено, чтобы им не быть в моих руках?.. Здесь печать, которой несвободной рукой не распечатаешь... Ей, гряди, Христос, ей, гряди Сам в сие сердце чистое, в сию душу смирную, а доколе медлишь, доколе не изволишь сего... пусть милы ему будут эти снежные глыбы его родины, пусть в свой день он скончается, сброся жизнь, как лоза – созревшую ягоду, как дикая маслина – цветок свой... Не мне ставить в колоды ноги его и преследовать его стези, когда Сам Сый написал перстом своим закон любви в сердце его и отвёл его в сторону от дел гнева».

Другой гуманный представитель церкви, выведенный Лесковым («Владычный суд»), действует подобным же образом, приводя иноверца к христианству высоким делом любви и справедливости. Но таких «дел для пленения» душ Лесков, погружаясь в церковный быт, видел слишком мало, и постепенно «исправление» правдивого художника, который не мог и не хотел лгать, приняло такой характер («Мелочи архиерейской жизни»), что Лескову пришлось за него тяжело поплатиться. Он с 1874 года служил в учёном комитете министерства народного просвещения, а с 1877 до 1880 года был также причислен к министерству государственных имуществ; в 1883 году его литературная деятельность была признана «несовместимой» с государственной службою, и ему было предложено подать в отставку. Лесков отказался исполнить это требование и был уволен без прошения, «по третьему пункту». Оскорблённый писатель апеллировал к общественному мнению и объявил печатно: «Я отчислен от министерства “без прошения” по причинам, лежащим вне моей служебной деятельности, которая в течение десяти лет признавалась полезною и никогда не навлекла мне никакого упрёка и ни одного замечания при трёх министрах. Для оставления службы мне не вменено никакой вины, а указана только “несовместимость” моих литературных

занятий со службою. Ничего более. В том, что я отчислен не по прошению, а “без прошения” тоже нет ничего меня порочащего или обидного. Мне была представлена полная возможность отчислиться по той форме, которая обыкновенно признаётся удобнейшею, но я сам предпочёл ту, которая, на мой взгляд, более верна истинному ходу дела». Министр Делянов, говорят, со своей обычной иезуитской вкрадчивостью, пытался уговорить Лескова «не делать скандала» и подать прошение об отставке: «Зачем это вам нужно, Николай Семёнович, без прошения-то?» – «Для некролога... моего и вашего!» – ответил Лесков.

Христианство для Лескова сливалось с народностью; он принимал его не столько как отвлечённую догму, сколько в его народном выражении и понимании. Рассуждая о разных типах изображений Христа, мудрый архиерей («На краю света») останавливается на его «типическом русском изображении: взгляд прям и прост, темя возвышенное, что, как известно, и по системе Лафатера означает способность возвышенного богочтения; в лике есть выражение, но нет страстей. Как достигали такой прелести изображения наши старые мастера? – это осталось их тайной, которая и умерла вместе с ними и с их отверженным искусством. Просто – до невозможности желать простейшего в искусстве: черты чуть слегка означены, а впечатление полно; мужиковат он, правда, но при всём том Ему подобает поклонение, и как кому угодно, а, по-моему, наш простодушный мастер лучше всех понял – Кого ему надо было написать. Мужиковат Он, повторяю вам... да что беды! – где Он каким открылся, там таким и ходит; а к нам зашёл Он в рабьем зраке, и так и ходит, не имея где главы приклонить от Петербурга до Камчатки. Знать ему это нравится принимать с нами поношения от тех, кто пьёт кровь Его и её же проливает. И вот в эту же меру, в какую, по-моему, проще и удачнее наше народное искусство поняло внешние черты Христова изображения, и народный дух наш, может быть, ближе к истине постиг и внутренние черты Его характера». У простого русского Бога и обиталище простое – «за пазушкой». «Тут, – продолжает архиерей, – что нам, господа греки, не толкуй и как ни доказывай, что мы им обязаны тем, что и Бога через них знаем, – а не они нам Его открыли: не в их пышном византийстве мы обрели Его в дыме каждений, а Он у нас свой притоманный и по-нашему, попросту, всюду ходит». Этого Бога познать можно не суетным и хитрым разумом, а «пазушкой», на которую «как же не полагаться: тайны-то уже там очень большие творятся, вся благодать оттуда идёт – и материно молоко детопитательное, и любовь там живёт, и вера. Там она, вся там; сердцем одним её только и вызовешь, а не разумом. Разум её не созидает, а разрушает: он родит сомнения, а вера покой даёт, радость даёт»...

Так мудры сердцем, а не разумом все лесковские праведники, которых он написал целую галерею: битый по лицу офицер Фигура, Несмертельный Голован, праведный эконом кадетского корпуса, немец Коза, христианин квартальный Однодум, кривой дворянин Дормидонт Рогожин, полунищий старик Пизонский, высеченный за спасение погибающего рядовой Постников, кроткий старец Памва, отец Кириак и дикарь в «На краю света», Пигмей, Некрещёный Поп, Селиван – «Пугало», княгиня Протазанова... Все эти люди слишком необычайны в обыденной жизни, слишком высоки и редки. Мало кто может к ним приблизиться. Подвиг – не для всякого. Они – лучшие дети народа, из которого вышли, но сам народ со своим исторически сложившимся жизненным укладом далеко не похож на них. Бог обитает в России кое-где, обиженный, униженный, «в рабьем зраке», и потаённо, «за пазушкой», а в общественном быту открыто господствует неправда. Россия – грандиозный «загон», где люди в Бога верят цинично-материалистически, пьянствуют, слепнут в курных избах, лечатся сажей. Средний русский человек – безвольное существо, игральное обстоятельство, одинаково способное и на подлость, и на подвиг. «Нельзя утверждать, что одни ваши честны, а другие бесчестны, – цинично и горячо доказывает казнокрад «Бесстыдник», на сторону которого склоняется, по-видимому, сам автор: – Я за всех русских стою!.. Поверьте, что не вы одни можете только голодать, сражаться и геройски умирать, а мы будто так от купели крещения только воровать и способны. Пустяки-с! Несправедливо-с! Все мы люди русские, и все на долю свою имеем от богатой природы на всё сообразную способность. Мы, русские, как кошки: куда нас ни брось, везде мордой в грязь не ударимся, а прямо на лапки станем; где что уместно, так себя там и покажем: умирать – так умирать, а красть – так красть. Вас поставили к тому, чтобы сражаться, и вы это исполнили в лучшем виде – вы сражались и умирали героями и на всю Европу отличились; а мы были при таком деле, где можно было красть, и мы тоже отличились, и так крали, что тоже

далеко стали известны. А если бы вышло, например, такое повеление, чтобы всех нас переставить одного на место другого, нас, например, в траншеи, а вас к поставкам, то мы бы, вору, сражались и умирали, а вы бы... крали».

Такие широкие и разнообразные возможности всегда скрываются в русском среднем человеке, а проявляются, глядя по внешним обстоятельствам, те или иные из них. Безволие даже хорошего русского человека бывает и трогательно, и досадно: такие чувства вызывает «Колыванский муж», умный и добрый офицер из стародворянской семьи, на которого родная Калуга и славянофильская Москва надеялись как на твёрдого русского культуртрегера среди остзейских немцев, а он – «как бычок окончательно отмахнул головою и от Москвы, и от Калуги, и кончил свой курс немцем», и даже сложил кости на лютеранском кладбище...

О том, как обеспечена русская личность, даёт ясное понятие немногословная параллель в «Левше». Когда Левшу и его приятеля англичанина привезли из-за границы в Петербург больными и «повезли англичанина в посланнический дом на Аглицкую набережную, а Левшу – в квартал», то сразу «судьба их начала сильно разниться»: англичанина посадили в тёплую ванну, потом велели проглотить «гутаперчевую» пилюлю и, наконец, накормили «курицей с рысью», а Левшу «свалили в квартире на пол», сняли с него платье и часы «с трепетиром», и городовые ему «ухи рвали, чтобы в память пришёл», взяв его из одной больницы в другую, причём у него затылок «о холодный парат раскололся»; так и пропал Левша, несмотря на всю свою сметливость и таланты.

Поэтому Лесков смотрел на Россию пессимистически. Русская жизнь в ея настоящем была для Лескова – «Смех и горе» (так озаглавлена одна из его повестей, довольно широко охватывающая общественную жизнь). При этих условиях существования, создающих виновность всех перед всеми и таким образом смягчающих отдельные грехи отдельных лиц, сама сатира ослабляет свою силу и не находит достаточных оснований для жёстких ударов. Талантливый художник быта так хорошо объяснил почву, на которой зарождаются гады, что читатель испытывает не столько негодование, сколько презрение и даже жалость.

